

## ФЕДОР АБРАМОВ

### АЛЬКА

Повесть

(фрагменты)

#### Глава 1

Новостей тетка и Маня-большая насыпали ворох. Всяких. Кто женился, кто родился, кто помер... Как в колхозе живут, что в районе деется... А Альке все было мало. Она ведь год целый не была дома, а вернее сказать, даже два, потому что не считать же те три дня в прошлом году, что на похороны матери приезжала.

И вот тетка и Маня-большая только замолчат, рот закроют, а она уж их теребит снова:

– Еще, еще чего?

– Да чего еще... – пожимала плечами Анисья. – Вот клуб строят новый. Культурно жить, говорят, будем...

– Слышала! Сказывала ты про клуб.

– Ну, тогда не знаю... Все кабыть...

Тут Маня-большая, – она тоже немало поломала свою старую голову, чтобы угодить гостье, – догадалась наконец разговор перевести на другую колею.

– Все нас да нас пытаешь, – сказала Маня, – а ты-то как живешь-можешь в своем городе?

Алька блаженно, до хруста в плечах, потянулась, почесала голую пятку о гладкий, с детства знакомый сук в половице под столом, потом разудало тряхнула своим рыжим, все еще не просохшим после бани золотом:

– Ничего живу! Не пообижусь. Девяносто рэ чистенькими каждый месяц, ну, и сотняга – это уж само мало – чаевые...

– Сто девяносто рублей?! – ахнула Маня.

– А чего? Я где работаю-то? В районной столовке или в городском ресторане? Филе жареное, жигу, люля-кебаб, цыплята-табака... Слыхала про такие блюда? То-то! А подать-то их, знаешь, как надо? В твоей столовке районной кашу какую под рыло сунули, и лопаи. А у нас – извини-подвинься...

Тут Алька живехонько выскочила из-за стола, переставила с подноса на стол все еще мурлыкающий самовар, чашки и стаканы – на поднос, поднос на руку с растопыренными пальцами и закружилась, завертелась по избе, ловко лавируя между воображаемыми столиками.

– А задок-от, задок-от у ей ходит! – восхищенно зацокала языком Маня. – Кабыть и костей нету.

– А уж это у нас обязательно! Чтобы на устах мед, музыка в бедрах. Нам Аркадий Семенович, наш директор, так и говорил: «Девочки, запомните, вы не тарелки клиенту несете, а радость».

Алька еще раз показала, как это делается, затем, довольная, с пылающими щеками, опустила на стол поднос с чайной посудой (только сейчас стаканы звякнули), разлила остаток вина по рюмкам:

– Давайте за Аркадия Семеновича! Во мужик – закачаешься! Бывало, выстроит нас, официанток, в зале, покамест в ресторане народу нету, сам за рояль, и давай команды подавать: «Девочки, задиком раз, девочки, задиком два...», «А теперь, девочки, упражнение на улыбку...». Сняли... За насаждение порочных нравов... в быту. Теперь у нас такой зануда-директор –

выше колена юбку не подними. Я, кажись, скоро стрекача задам. К летчикам, наверно, подамся – по городам летать...

– А Владислав-то Сергеевич как? – спросила Маня.

– Чего Владислав Сергеевич?

– Ну, в части препятствий... Жена с молодыми мужиками...

Алька быстро взглянула на густо покрасневшую тетку и сразу все поняла: это она, тетка, скрыла от всех, что Алка не живет с Владиком. Скрыла, чтобы избежать пересудов деревенских.

Но Алка не любила хитрить, как ее покойная мать, а потому, хоть тетка и делала ей знаки глазами, рубанула сплеча:

– Не живу я с Владиком. Рассчитала на все сто и даже с гаком.

– Ты? Сама? – У Мани от удивления даже нижняя губа отвисла. Точь-в-точь как у Розки, старой кобылы-доходяги, на которой в последнюю зиму перед болезнью отец возил дрова для сельпо.

– А чего? Он – шантрапа, алиментщик заядлый, а я чикаться с ним буду, да?

– Кто алиментщик? Владислав-то Сергеевич алиментщик? – еще пуше прежнего удивилась Маня.

– Ну! Да еще алиментщик-то какой! Двойной. Я сдуру-то, когда он от нас удрал не сказавши, обревелась... Думаю, все: пропала моя головушка. К евоному начальству в городе прикатила – слова сказать не могу: вот какая деревенская дуреха была! А потом как начальник-то сказал мне, хороший такой дядечка, полковник с усами, что у Климашина и так двойные алименты, я дай бог силы. И руками, и ногами отпихиваться стала. Сообразила! Он восемнадцать лет ползарплаты платить будет, а мне вприглядку глядеть?

Вдруг голосистая бабья песня ворвалась в избу, от грохота грузовика задрожали стекла в рамах.

Алька кинулась к раскрытому окошку, но машина уже проскочила – только пыль клубилась на дороге.

– Свадьба, что ли, какая? – спросила она у старух.

– Не, то доярки, – ответила Анисья. – С утрешней дойки едут. С поскотины. Все вот ноне так. Завсегда с песнями.

– А чего им не с песнями-то? – фыркнула Маня. – Деньжищи загибают – ой-ой!

– А Лидка Вахрамеева, подружка моя, по-прежнему в доярках?

– В доярках. Только теперь она не Вахрамеева, а Ермолина.

– Кто – Лидка не Вахрамеева? Дак чего же вы молчали?

– Да я писала тебе, – сказала Анисья. – Еще зимусь вышла. За Митрия Васильевича Ермолина.

– Чего-чего? За Митю Первобытного? – Алка расхохоталась на всю избу. – Ну и хохма! Да мы, бывало, с ней первыми потешались над этим Митей!

– А теперь не потешается. Теперь – муж. Хорошо живут. Хорошая пара. А уж Митрий-то – золото!

– Да какое золото! – хмыкнула Маня.

– Нет, нет, не хинь, Архиповна, Митрия! – горячо вступилась за Митю Анисья. – Человек весь колхоз отстроил – шутка сказать! А сами-то они коль дружны – ноне-ка такого и не увидишь. Я тут на днях встретила – к реке идут с бельем, Митя сам корзину несет. Ну-ко, кто из нынешних мужиков женке своей пособит? И вина не пьет...

– А все равно недотепа, мозги набекрень, – твердила свое Маня, и из этого Алька заключила, что старуха не сумела пробить лаз к Мите и Лидке – это уж наверняка, раз она с таким усердием поливает их грязью.

...

## Глава 11

Старушонку, ползающую на косогоре возле черемухового куста, Алька заметила еще когда с теткиной верхотуры смотрела на реку.

Думала-гадала: кто бы это? Что делает? Землянку собирает? Но землянка растет на косогоре пониже, а во-вторых, не так уж у них и густо этой землянки, чтобы на одном месте целый час топтаться.

И вот когда она вышла из дому – первым делом за изгородь: серый клетчатый платок все еще нырял там.

Христофоровна. Траву серпом собирает.

– Не могу далеко-то ходить, – заговорила Христофоровна, с превеликим трудом разгибая свою старую спину. – А все еще скотинку держу – кычка [овца] есть. Вот и кочкаю по своей вере – кое серпом, кое руками. А ты куда пошла? Не к реке? Обмойся, обмойся. Вода тёплая-теплая. Ноне все лето до потовины жарит. У меня девушки из городу жили – больно ндравилась наша водица. Такой, говорят, воды, бабушка, и на свете нету. Все вон по Паладьиной меже бегали.

– По Амосовской, – поправила старуху Алька.

– А нет, по Паладьиной, – сказала Христофоровна. – То раньше Амосовской-то звали, а теперь Паладьиной зовем. Даже мы, старые, так говорим.

Христофоровна тяжело перевела дух – жарковато было на верховище, как сказала бы Алькина мать про вершину горы.

– У меня девушки все выпрашивали: как, говорят, с чего такая перемена? Это насчет межи-то – почему Паладья всех Амосовых покрыла. А я говорю, за труды, видно. Двадцать лет женка кажинный день мяла эту межу, да еще не один, а два да три раза на дню. Никто, говорю, как деревня стоит, не прошел по ней, сколько она прошла. Ну, дак уж они меня извели: расскажи да расскажи про Паладью.

– А ты рассказывала?

– Как не рассказывала, раз просят. Все записали да в город увезли.

– А чего им мамина жизнь далась?

– А вот интересуются. Как да за что такая почесть. Очень им это удивительно, что межу к нынешнему человеку привязали. Это, говорят, бабушка, все равно, что памятник. Памятники, вишь, в городах большим людям ставят. Каменные. Видала?

– Видала. Есть.

– Ну вот видишь. А я думала, может, маленько и подшутили над бабушкой. Любят посмеяться-то, любят. Хоть и уважительные...

Дальше, по всему видно, разговор у Христофоровны опять пошел бы о полюбившихся ей девушках из города, и Алька с ней рассталась.

Но пошла не на деревню. Пошла под гору – маминой тропкой.

Шла, опустив голову, смотрела на плотно утоптанную дорожку, искала материны следы и не находила. Давно смыло их дождями и вешними водами – редкий год у них река не выходила

из берегов. А все равно дорожку и межу называют Паладьиной. И так будут называть долго, даже тогда, когда уж ее, Альки, не будет на свете...

И еще она думала о том, что рассказывала студентам о матери старая Христофоровна.

Она не сомневалась: добрая старуха до небес расхваливала мать. Работящая. В любую стужу и дождь за реку шастала. Одна за трех человек на пекарне чертоломила... А была ли счастлива мать? Какие радости она видела в своей жизни? Неужели же испечь хороший хлеб это и есть самая большая человеческая радость?

А у матери, как запомнила Алька, не было другой радости. И только в те дни добрела и улыбалась (хоть и на ногах стоять не могла), когда хлеб удавался. И не только улыбалась, а и ораторствовала – любила поговорить: «Да у меня самая главная должность на Земле, ежели на то пошло. Да я хлеб пеку, я саму жизнь делаю...».

Паладьина межа... Межа родной матери...

Не часто, ох, не часто бывает такое, когда дочь шагает тропой, которая называется по имени ее матери...

...

## Глава 17

Алька плакала, плакала навзрыд, на весь голос, но Анисья и не подумала утешать ее. Закаменело сердце. Не бывало еще такого, чтобы из ее дома выгоняли гостей! Только уж потом, когда Алька начала биться головой о стол, подала голос:

– Чего опять натворила? Я не знаю, когда ты и образумишься...

– Ох, тетка, тетка... – простонала Алька, – не спрашивай...

– Да пошто не спрашивай-то? Кто будет тебя спрашивать, ежели не тетка? Кто у тебя еще есть, кроме тетки-то?

В ответ на это Алька подняла от стола свое лицо, мокрое, распухшее, некрасивое (никогда в жизни Анисья не видала такого лица у племянницы), и опять уронила голову на стол. Со стуком, как мертвую.

И тогда разом пали все запоры в Анисьином сердце. Потому что кто корчится, терзается на ее глазах! Кого треплет, рвет в клочья буря? Разве не живую ветку с амосовского дерева?

Она подсела к Альке, крепко, всхлипывая сама, обняла племянницу.

– Ну, ну, не сходи с ума-то... Выскажись, облегчи душу...

– Тетка, тетка, – еще пуще прежнего зарыдала Алька, – пошто меня никто не любит?

– Тебя? Да господь с тобой, как и язык-то поворачивается. Тебя, кажись, когда еще в зыбке лежала, ребята караулили...

– Нет, нет, тетка, я не про то... Я про другое...

И Анисья вдруг замолкла, перестала возражать. И это ее молчание стопудовым камнем придавило Альку.

Всю жизнь она думала: раз за тобой ребята гоняются, глазами тебя едят, обнимают, тискают, – значит, это и есть любовь. А оказывается, нет. Оказывается, это еще не любовь. А любовь у Лидки и Мити, у этих двух дурачков блаженных...

И самое ужасное было то, что она, Алька, верила, завидовала этой любви. Да, да, да! Она даже знала теперь, какой запах у настоящей любви. Запах свежей сосновой щепы и стружки...

– Может, чаю попьешь – лучше будет? – спросила Анисья.

Алька махнула рукой: помолчи, коли нечего сказать. Потом встала, хотела было умыться и не дошла до рукомойника – пала на кровать.

Анисья быстрехонько разобрала постель, раздела ее, уложила как ребенка и, купаясь вместе с нею в мокрой зареванной подушке, стала утешать похвальным словом – Алька с малых лет была падка на лесть:

– Ты посмотри-ко на себя-то. Тебе ли реветь-печалиться с такой красотой. Девочек сколько бог обидел, чтобы тебя такую сделать...

Алька мотала раскосмаченной головой: нет, нет, нет! Так и она раньше думала – раз красивая, значит и счастливая. А Лидку взять – какая красавица? Но, господи, чего бы она не дала сейчас, чтобы хоть один день у нее было то же самое, что она видела сегодня у Лидки!

Да, да, да! Лидка растрепана, Лидка дура, у Лидки с детства куриные мозги – все так.

И однако ж не от кого-нибудь, а от Лидки узнала она про другую жизнь. И не просто узнала, а еще и увидела, как эту другую жизнь оберегает Василий Игнатьевич. Стеной, как самый драгоценный клад. И от кого оберегает? А от нее, от Альки.

И Алька билась, выворачивалась из рук тетки, грызла зубами подушку и, кажется, первый раз в своей жизни задавала себе вопрос: да кто же, кто же она такая? Она, Алька Амосова! И какой-то свет излучает эта дурочка Лидка, что все ее в пример ставят?

© Абрамов Ф.А., правообладатели

Источник публикации: Алька : повесть // Наш современник.— 1972.— № 1.— С. 2-36.